

джозеф
конрад

личное
дело

Джозеф Конрад

Личное дело.

Рассказы (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42675333

Личное дело:

ISBN 978-5-91103-475-7

Аннотация

Джозеф Конрад (1857–1924) – классик британской литературы, один из пионеров модернизма, автор повести «Сердце тьмы», оказавшей значительное влияние на культуру XX века. В восьми рассказах, публикующихся на русском языке впервые, освещены основные темы творчества Конрада: морские приключения и экзотические страны («Подельник» и «Всё из-за долларов»), столкновение буржуазного общества и революционных движений начала XX века («Анархист», «Осведомитель»), судьба родной для писателя Польши («Князь Роман»), проблемы этического выбора («Сказка», «Возвращение»). В сборник также вошло «Личное дело» – единственная автобиография и своего рода творческое и гражданское кредо Конрада.

Содержание

Личное дело	5
Предисловие без церемоний	5
Примечание автора	18
Личное дело	28
I	28
II	55
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Джозеф Конрад

Личное дело

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019

Личное дело

Предисловие без церемоний

Нас редко приходится уговаривать, чтоб мы рассказали о себе. Однако эта книжка появилась в результате дружеского предложения и даже некоторого не менее благожелательного давления. Я слегка поотпирался, но все тот же благожелательный голос со свойственной ему настойчивостью повторил: «Ну ты же знаешь, это надо написать».

Это, конечно, не довод, но я немедленно сдался. Надо так надо!

Все мы во власти слова. Кто хочет быть убедительным, должен вескому аргументу предпочесть меткое слово. Звук всегда доходчивее смысла. Я вовсе не умаляю значение смысла, но восприимчивость лучше раздумий. Раздумья не породили ничего великого – великого в смысле влияния на судьбы человечества. С другой стороны, невозможно игнорировать силу простых слов, таких, например, как Слава или Сострадание. Но – продолжать не стану. За примерами далеко ходить не надо. Произнесенные громко, настойчиво, уверенно и страстно, одним своим звучанием эти слова приводили в движение целые народы и взрывали сухую, жесткую твердь, на которой покоится вся наша социальная структура.

А возьмите «добродетель»!.. Конечно, нужно позаботиться и об интонации. Правильной интонации. Она очень важна. Вместительные легкие, зычный глас или нежные трели. Да что там Архимед с его рычагом. Человек, поглощенный своими математическими размышлениями. Математиков я всемерно уважаю, но механизмы мне ни к чему. Дайте мне правильное слово и интонацию, и я переверну землю!

Вот мечта, достойная сочинителя! Ибо и у написанных слов есть своя интонация. Именно! Дайте только найти нужное слово! Наверняка оно лежит где-нибудь среди обрывков причитаний и ликующих возгласов, что людские уста исторгают с того самого дня, когда надежда, неугасимая и вечная, сошла на эту землю. Оно там, это слово – затерянное, неразличимое, совсем близко, – только протяни руку. Но тщетно. Нет, я верю, что есть те, кто способен легко найти иголку в стоге сена. Однако я не из таких счастливчиков. А ведь есть еще интонация. Еще одна загвоздка. Кто станет утверждать, верна ли интонация, пока слово не прозвучит, и не развеется, не услышанное, по ветру, так никого и не тронув? Давным-давно жил император. Он слыл мудрецом и был не чужд сочинительства. На дощечках слоновой кости записывал он мысли, изречения, замечания, по счастью сохранившиеся в назидание потомкам. Среди других изречений – я цитирую по памяти – вспоминается одно торжественное напутствие: «Пусть высокая истина звучит во всех твоих словах». Высокая истина! Звучит! Все это здорово, но легко же было су-

ровому императору строчить претенциозные советы. В этом мире в ходу приземленные, а не высокие истины; и были времена в истории человечества, когда произносивший высокие истины вызывал лишь насмешку.

Едва ли читатель рассчитывает найти под обложкой этой небольшой книги слова необыкновенной мощи или героические интонации. Как бы ни задевало это мое самолюбие, должен признаться, что советы Марка Аврелия не для меня. Они больше подходят моралисту, чем творцу. Все, что я могу вам обещать, – это далекая от героизма правда и абсолютная искренность. Та драгоценная искренность, что, оставляя человека безоружным перед врагами, может посорить его и с друзьями.

«Поссорить», наверное, слишком сильно сказано. Сложно представить, что у кого-то из моих врагов или друзей нет других дел, как затевать со мной ссору. Лучше сказать «может расстроить друзей». С тех пор как я стал сочинять, большинство, если не все мои дружеские отношения завязались благодаря книгам; и я знаю, что писатель живет своей работой. Он погружен в нее, как единственный реальный персонаж созданного им мира, среди воображаемых вещей, происшествий и людей. О чем бы он ни писал – все это о себе. Но се же раскрывается он не полностью. Он как будто прячется за шторой; о его присутствии можно только догадываться, расслышав голос или уловив движение за складками повествования. В этих записях мне не за что прятаться. Мне

все время приходит на ум фраза из трактата «О подражании Христу», где автор – монах, глубоко постигший жизнь, говорит, что «высоко ценимые люди, раскрывая себя, могут запятнать свое доброе имя». Именно этой опасности подвергает себя писатель, решивший говорить о себе открыто.

Пока главы этих воспоминаний выходили в прессе, меня нередко упрекали в расточительности. Будто бы я по собственной прихоти транжирю материал для будущих книг. Возможно, дело в том, что я не литератор до мозга костей. Ведь человек, который до тридцати шести лет не написал ни строчки для печати, не способен заставить себя воспринимать свой жизненный опыт, все умозаключения, ощущения и эмоции, воспоминания и сожаления, весь багаж собственного прошлого лишь как материал для работы. Года три назад, когда я опубликовал «Зеркало морей» – собрание впечатлений и воспоминаний, я получал схожие замечания. Практического толка. Но, по правде говоря, я никогда не понимал, что именно мне советовали приберечь. Я хотел отдать дань морю, кораблям и людям, которым обязан столь многим, которые сделали меня таким, какой я есть. Мне казалось, что только так я мог выразить свою благодарность минувшему. Относительно формы у меня сомнений не было. Возможно, экономя из меня и вправду никудышный, но это уже не исправить.

Я возмужал в особых условиях морской жизни и испытываю глубокое благоговение перед тем временем: впечатления

от него были яркими, обаяние непосредственным, а требования – соразмерны нерастраченным силам и юношескому пылу. В них не было ничего, что могло бы смутить неокрепший ум. Я вырвался из родных пенатов под шквалом упреков от всякого, кто считал себя хоть сколько-нибудь вправе высказать свое мнение, и, очутившись на огромном расстоянии от естественных привязанностей, которые у меня еще оставались, был отчужден от них совершенно непостижимым характером той жизни, что таинственным образом заставила меня забыть свои корни. Сейчас я без преувеличения могу сказать, что в силу слепой воли обстоятельств морю суждено было заменить мне весь мир, а торговому флоту – стать моим единственным домом на долгие годы. Неудивительно, что в двух моих сугубо морских книгах – «Негре с Нарцисса» и «Зеркале морей» (и в нескольких морских рассказах, таких как «Юность» и «Тайфун»), – я попытался с почти сыновним почтением передать биение жизни в огромной стихии воды, в сердцах простых мужчин, которые веками бороздят эту пустыню, и тот дух, что обитает на корабле – творении их рук, предмете их заботы.

Литературе часто приходится подпитываться воспоминаниями и возвращаться к беседам с призраками прошлого, если только автор не решил посвятить себя обличению человеческих грехов или восхвалению его мнимых добродетелей, а попросту – нравоучениям. Но я не изобличитель, не льстец и не ментор, поэтому все это не про меня, и я готов смирить-

ся со скромной ролью, отведенной тем, кто предпочитает не выпячивать своего мнения. Но смирение не есть безразличие. И я бы не хотел оставаться простым наблюдателем на берегу великого потока, увлекающего столько жизней. Я бы хотел обладать той степенью проницательности, что может быть выражена в словах сочувствия и сострадания.

Думается, что по крайней мере в одном авторитетном кругу критиков меня подозревают в некой бесстрастности, в мрачном безучастии – в том, что французы назвали бы *sécheresse du coeur*¹. Пятнадцать лет непрерывного молчания, а затем множество как хвалебных, так и нелестных отзывов сформировали наконец мое отношение к критике, этому прекрасному цветку субъективности в саду литературы. Но подозрение это в большей степени касается именно человека – того, кто скрывается за текстом, и потому его уместно будет обсудить в книге, которая представляет собой личные записи на полях общей истории. Не то чтоб это меня хоть как-то задевает. Обвинения – если их вообще можно так назвать – предъявлены в самых взвешенных выражениях и весьма сочувствующим тоном.

Моя позиция состоит в том, что если всякий роман содержит элемент автобиографии – а это трудно отрицать, поскольку только в творчестве автор может отразить собственные переживания, – то непосредственное выражение собственных чувств для некоторых из нас просто невыносимо.

¹ Черствость сердца (франц.). – Здесь и далее примечания переводчика.

Я бы не стал чрезмерно превозносить способность к самовладанию. Чаще это вопрос темперамента. Но это не всегда признак равнодушия. Это может быть гордость. Для автора нет ничего унижительнее, чем пустить стрелу эмоции и промахнуться, не вызвав ни смеха, ни слез. Ничего более унижительного! И все потому, что выстрел мимо цели, когда открытая демонстрация чувств не трогает читателя, вызывает лишь отвращение или презрение. Не стоит упрекать художника, когда он втягивает голову от страха перед вызовом, который с радостью принимает лишь глупец и лишь гений осмелится не заметить. В работе, суть которой – в более или менее откровенном обнажении души, внимание к приличиям, пусть даже ценой успеха, является желанием сохранить достоинство человека, которое неразрывно связано с достоинством его произведений.

И потом, невозможно жить на этой земле в неомрачаемой радости или непрерывной печали. Комичное, когда речь о человеке, часто оборачивается страданием; да и беды наши (только некоторые, не все, поскольку именно способность к страданию возвеличивает человека в глазах других) – следствие слабостей, которые нужно встречать с участливой улыбкой, поскольку все мы не без греха. Радость и печаль в этом мире перетекают друг в друга, смешивая черты и голоса в сумерках жизни, непостижимой, как океан в тени облаков, когда ослепительно-яркий свет самых высоких надежд, пленительный и неподвижный, горит на самом краю

горизонта.

Да! Я бы тоже хотел иметь волшебную палочку, чтобы повелевать смехом и слезами, ведь это признается высшим достижением художественной литературы. Только чтобы стать великим фокусником, нужно отдаться силам мистическим и безответственным либо в помыслах, либо в реальности. Все мы слышали о простаках, за любовь или власть продающих душу какому-нибудь карикатурному дьяволу. Даже самый заурядный ум без долгих размышлений поймет, что в такой сделке ничего не выиграешь. Потому и мое недоверие к подобным аферам не является признаком какой-то особой мудрости. Возможно, мое морское воспитание наложило на естественную склонность держаться за то единственное, что принадлежит мне по-настоящему, – но правда в том, что я определенно боюсь пусть даже на одно мгновение утратить полную власть над собой – самообладание, которое является обязательным условием хорошей службы. А представление о хорошей службе я сохранил и в своей новой ипостаси. Я, никогда не искавший в письменном слове ничего, кроме воплощения Красоты, – перенес этот догмат веры с корабельных палуб в более тесное пространство рабочего стола и поэтому, полагаю, стал навечно ущербным в глазах не называемой вслух компании строгих эстетов.

Как в политической, так и в литературной жизни человек приобретает друзей благодаря силе своих предубеждений и последовательной узости взглядов. Но я никогда не

мог полюбить то, что не вызывает любви, или возненавидеть то, что не вызывает ненависти, из одних только принципиальных соображений. Считете ли вы это признание смелым или нет, я не знаю. Когда половина жизненного пути уже пройдена, и опасности, и радости мы встречаем без особого волнения. Поэтому, ступая с миром, я продолжаю утверждать, что в стремлении нагнетать эмоции я всегда видел лишь проявление все обесценивающей неискренности. Чтобы по-настоящему тронуть, мы умышленно позволяем себе выйти за рамки обычного восприятия – почти невинно, по необходимости, подобно актеру, который со сцены говорит громче, чем в обычном разговоре, – но все же пересекать эту грань нам приходится. И большого греха в этом нет. Но опасность в том, что писатель становится жертвой собственных гипербола, теряет верную тональность искренности и доходит до того, что презирает уже саму правду – слишком холодна, слишком груба для него правда, – уж не чета она его ярким чувствам. От смеха и слез легко скатиться до нытья и подхихикивания.

Такие рассуждения могут показаться эгоистичными; но нельзя же, будучи в здравом уме, осуждать человека за заботу о собственной целостности. Это его прямая обязанность. И менее всего можно осуждать художника, как бы робко и небезупречно он ни преследовал свою творческую цель. В этом внутреннем мире, где его мысли и чувства бродят в поисках вообразяемых приключений, нет ни полиции, ни зако-

на, ни давления обстоятельств, ни страха перед чужим мнением, которые удерживали бы его в рамках. Кто ж тогда скажет «нет!» искушениям, если не собственная совесть?

А кроме того – здесь и сейчас, не забывайте, разговор идет начистоту, – я думаю, что любые устремления допустимы, кроме тех, что заставляют идти по головам, пользуясь человеческой доверчивостью и страданиями. Позволительны также любые интеллектуальные и художественные амбиции в пределах здравого смысла и даже за его пределами. Они неспособны никому навредить. Если они безумны, тем хуже для художника. В самом деле, подобно всякой добродетели, честолюбивое устремление – награда сама по себе. Разве это настолько безумно – верить в безграничную власть искусства, искать новые средства, новые способы утверждения этой веры, все глубже погружаясь в суть вещей? Желание проникнуть глубже не есть жестокосердие. Летописец сердец – не есть летописец чувств, он идет дальше, как бы ни был труден путь, ведь его цель – достичь самого источника смеха и слез. Жизнь человеческая достойна восхищения и жалости. Заслуживает она и уважения. И не жестокосерден тот, кто, наблюдая за ее коллизиями, откликнется сдержанным вздохом, но не рыданием, улыбкой, но не ухмылкой. Смирение, не религиозное и отрешенное, но осознанное и подкрепленное любовью, – вот единственное человеческое чувство, которое невозможно подделать.

Не то чтобы я думал, что смирение – это последнее слово

мудрости. Я все-таки дитя своей эпохи. Но я полагаю, что истинная мудрость заключается в том, чтобы принимать волю богов, не зная точно, в чем она состоит и есть ли вообще у них воля. И в жизни, и в искусстве для счастья важно не Почему, но Как. Как говорят французы: «Il y a toujours la manière». Как это верно. Да. Всегда есть манера: и в смехе, и в слезах, в иронии, возмущении, энтузиазме, в суждениях и даже в любви. Манера, в которой, как в чертах и особенностях человеческого лица для тех, кто умеет смотреть на себе подобных, скрыта внутренняя сущность.

Читателю известны мои убеждения: мир, бренный мир людей, покоится на нескольких очень простых истинах, простых и древних, как он сам. Среди прочего он опирается на идею Постоянства. Во времена, когда только нечто революционное может рассчитывать на широкое внимание, я своими текстами не стремлюсь произвести революцию. Революционный дух чрезвычайно удобен тем, что освобождает от всех моральных принципов в угоду идеологии. Его непоколебимый, тотальный оптимизм отвращает мой разум, поскольку таит в себе угрозу фанатизма и нетерпимости. Подобные размышления, безусловно, могут вызвать лишь улыбку, но, не слишком преуспев в эстетике, я недалеко ушел и в философии.

Всякое притязание на исключительную правоту вызывает во мне насмешку и чувство опасности, не свойственное человеку с философским складом ума...

Боюсь, что, желая говорить понятнее, я начинаю излагать слишком сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Мне так и не удалось освоить искусство беседы, искусство, которое, как я полагаю, теперь утрачено. Мое детство – время, когда формируются характер и привычки, – было наполнено часами долгого безмолвия. Голоса, его нарушавшие, к разговорам отнюдь не приглашали. Нет у меня привычки к разговорам. Однако сбивчивость эта в определенной степени даже уместна для последующего рассказа. Рассказ получился сбивчивый в результате пренебрежения хронологией (что само по себе преступление) и несоответствия принятым литературным формам (что выходит уже за всякие рамки). Меня всерьез предупреждали, что публика будет недовольна неформальным тоном воспоминаний. «Увы! – мягко возражал я. – Прикажете начать сакраментальным „Я родился тогда-то и там-то“? Моя родина слишком далека, чтобы вызвать интерес у читателя. Удивительные приключения не преследовали меня изо дня в день. Не было среди моих знакомых замечательных людей, о которых я мог бы припомнить забавный анекдот. Я не был замешан в известных или скандальных историях. Это своего рода психологическая летопись, но даже в ней я не желаю навязывать собственные умозаключения».

Но мой критик не унимался. «К чему оправдываться в том, что уже написано, если имелись серьезные основания не писать вовсе», – говорил он.

Допускаю, что все, почти все на свете может послужить весомым аргументом в пользу решения – не писать. Но раз уж воспоминания написаны, мне остается сказать в их защиту одно: составленные без оглядки на общепринятые правила, эти мемуары – не беспорядочное словесное извержение. В них есть надежда и цель. Надежда, что по прочтении этих страниц может сложиться представление о личности человека, стоящего за столь разными книгами, как, скажем, «Причуда Олмейера» и «Тайный агент», и все же человека неслучайного и последовательного как в мотивах, так и в поступках. Это – надежда. Непосредственная же цель созвучна надежде и состоит в том, чтобы записать личные воспоминания и правдиво передать чувства и переживания, связанные с рождением моей первой книги и первым знакомством с морем.

В совместном звучании двух этих натянутых струн дружеский слух, надеюсь, различит некую гармонию.

Дж. К. К.

Примечание автора

Переиздание этой книги, строго говоря, не требует нового предисловия. Но, коль скоро лучшего места для личных замечаний не найти, я воспользуюсь возможностью в этой части обратиться к двум темам, которые, как я заметил, последнее время часто обсуждаются, когда речь заходит обо мне в печати. Первая из них затрагивает вопрос языка. Я всегда ощущал, что на меня смотрят как на некий феномен, – и такое суждение вряд ли можно назвать завидным, если только вы не выступаете на арене цирка. Нужно быть человеком особого склада, чтобы получать удовлетворение от возможности намеренно совершать нелепые поступки из чистого самолюбования. Тот факт, что я пишу не на родном языке, конечно же, обсуждался почти в каждой заметке, обзоре и более пространных критических статьях, посвященных различным моим произведениям. Полагаю, это неизбежно; нет сомнений в том, что эти комментарии могли бы польстить авторскому самолюбию. Но только не моему: в этом вопросе я лишен его совершенно. Да и взяться ему неоткуда. Первая задача этого предисловия – убедить читателя, что осознанный выбор языка не является заслугой.

Распространено представление, будто я вынужден был выбирать между двумя неродными для меня языками – французским и английским. Это представление ошибочно. Я ви-

жу его истоки в статье, написанной сэром Хью Клиффордом и опубликованной в 1898-м году минувшего века. Немногим ранее сэр Клиффорд нанес мне визит. Он был если не первым, то вторым моим другом, обретенным благодаря работе (вторым был мистер Каннингем-Грэм ², которого, что характерно, покорила мой рассказ «Форпост прогресса»). Эти дружеские отношения, выстоявшие до сего дня, я отношу к самым драгоценным своим достояниям.

Мистер Хью Клиффорд (в то время он еще не был удостоен рыцарства) только что опубликовал первый том своих малайских записок. Я был искренне рад его видеть и бесконечно благодарен за теплые отзывы о моих первых книгах и нескольких ранних рассказах, действие которых происходило на Малайском архипелаге. Я помню, что после всех добрых слов, от которых я должен был покраснеть до корней волос, произнесенных им с возмутительной сдержанностью, он с непреклонной и в то же время доброжелательной настойчивостью человека, привыкшего говорить нелюбезную правду даже восточным властителям (для их же, конечно, пользы), заметил, что я не имею ни малейшего представления о малайцах. Я и сам прекрасно это понимал. Я никогда не претендовал на это знание, и взволнованно парировал (и по сей день я поражаюсь своей наглости): «Конечно, я ничего не знаю о малайцах. Если бы я знал о них хоть сотую долю

² Британский писатель-социалист, автор критикующей империализм книги «Чертовы нигеры».

того, что знаете вы и Франк Светтенхам, от моих книг было бы не оторваться». Он некоторое время доброжелательно, но строго смотрел на меня, пока мы не расхохотались. В ту памятную для меня встречу двадцатилетней давности мы успели поговорить о многом; среди прочего – о характерных особенностях разных языков, и именно в тот день у моего друга сложилось представление, что я сделал осознанный выбор между французским и английским. Позже, когда дружеские чувства (совсем не пустой для него звук) сподвигли его написать заметку о Джозефе Конраде в «Норт Американ Ревью», он поделился этим представлением с публикой.

Ответственность за недоразумение, а это было не что иное, безусловно лежит на мне. Должно быть, в ходе дружеской и доверительной беседы, когда собеседники не слишком тщательно подбирают слова, я недостаточно ясно выразился. Помнится, я хотел сказать, что если бы мне пришлось выбирать между языками, я не решился бы на попытку самовыражения на таком «кристаллизованном» языке, как французский, – хотя и говорю на нем достаточно хорошо с самого детства. «Кристаллизованный» – уверен, я употребил именно это слово. А затем мы перешли к другим темам. Мне пришлось немного рассказать о себе, его же рассказы о работе на Востоке, о том особенном, его личном Востоке, о котором у меня были лишь обрывочные, весьма туманные представления, полностью меня поглотили. Возможно, нынешний гу-

бернатор ³ Нигерии запомнил эту беседу не так хорошо, как я, и он вряд ли станет возражать против того, чтобы я, как говорят дипломаты, «ректифицировал» ⁴ заявление малоизвестного писателя, которого, следуя порыву щедрой души, он нашел и сделал своим другом.

А правда в том, что мое умение писать по-английски – такая же природная способность, как любые другие врожденные данные. У меня есть странное чувство непреодолимой силы, что английский – всегда был неотъемлемой частью меня. Это никогда не было вопросом выбора или овладения. У меня даже мысли не было выбирать. Что касается овладения – да, оно случилось. Но это не я, а гений языка овладел мной; гений, который, не успев я толком научиться складывать слова, захватил меня настолько, что его обороты – и в этом я убежден – отразились на моем нраве и повлияли на мой до сих пор пластичный характер. Это было очень интимное действо и потому слишком загадочное, чтобы пытаться его растолковать. Задача невыполнимая – это как пытаться объяснить любовь с первого взгляда. То был восторг единения, почти физическое узнавание друг друга, та же душевная уступчивость, та же гордость обладания – и все это скреплено уверенностью, что никто никогда еще не испыты-

³ Нигерия с 1914 по 1960 год была колонией Британии.

⁴ В дипломатической практике «ректифицировать документ» означает изменить его содержание в соответствии с новым видением и по обоюдному согласию сторон.

вал ничего подобного, что ты первым ступил на эту землю. И чувство это не омрачала и тень того гнетущего сомнения, что осеняет предмет нашей недолговечной страсти, даже когда она сияет в самом зените.

У первооткрывателя меньше прав, чем у законного наследника, и оттого обретенное имеет для него куда большую ценность и накладывает пожизненное обязательство – оставаться достойным своей великой удачи. Но вот я и пустился в объяснения, хотя совсем недавно объявил это невозможным. Если в процессе активного действия мы можем с трепетом наблюдать, как Невозможное отступает перед неукротимостью человеческого духа, то Невозможность отрефлексировать, подвергнуть анализу – всегда проявится так или иначе. Все, на что я могу претендовать после долгих лет прилежной практики, каждый день которой прибавлял мучительных сомнений, несовершенств и колебаний – это право заявить, не представляя доказательств, что если бы я не писал на английском, я не писал бы вовсе.

У меня есть еще одно уточнение – тоже своего рода «ректификация», хоть и менее прямолинейная. Оно не имеет ни малейшего отношения к средствам выражения и касается моего писательства в другом смысле. Мне ли критиковать моих судей, тем более что я всегда полагал их самыми справедливыми и даже сверх того. И все-таки мне кажется, что они, несмотря на неизменный интерес и симпатию, слишком многое из того, что присуще лично мне, относили на счет

национального и исторического влияния. Так называемая в литературных кругах «славянская душа» предельно чужда польскому характеру с его традиционной сдержанностью, галантной нравственностью и даже чрезмерным уважением к правам личности. Не говоря уже о том важном факте, что сам польский менталитет, западный по духу, сформировался под влиянием Италии и Франции и исторически всегда оставался, даже в религиозных вопросах, в согласии с наиболее либеральными течениями европейской мысли. Непредвзятый взгляд на род людской во всем его великолепии и убогости в сочетании с особым вниманием к правам угнетенных, не из религиозных соображений, но из чувства товарищества и бескорыстной взаимопомощи – вот основная черта интеллектуальной и нравственной атмосферы тех домов, что стали убежищем моему тревожному детству. Все это на основании спокойного и глубокого убеждения – неизменного и последовательного, бесконечно далекого от того человеколюбия, которое есть не более чем следствие расшатанных нервов или нечистой совести.

Один из моих самых доброжелательных критиков пытался объяснить некоторые особенности моей литературной деятельности тем, что я, по его словам, являюсь «сыном революционера». Совершенно неуместно так называть человека со столь сильным чувством ответственности во всем, что касается идей и поступков, и столь равнодушного к голосу личных амбиций, как мой отец. Я до сих пор не понимаю,

почему польские восстания 1831 и 1863 годов по всей Европе считались «революциями». Ведь по сути это были восстания против иностранного господства. Сами русские использовали слово «бунт», что, с их точки зрения, вполне точно отражало события. Среди людей, вовлеченных в подготовку восстания 1863 года, мой отец был настроен не более революционно, чем остальные, в том смысле, что они вовсе не собирались свергать существующий общественный или политический строй. Он просто был патриотом, то есть человеком, который, веря в национальный дух, не желал мириться с его порабощением.

Упомянутая в благожелательной попытке глубже понять сочинения сына фигура моего отца потребует еще нескольких слов. Ребенком я, конечно, очень мало знал о его деятельности, ведь мне не было и двенадцати, когда он умер. То, что я видел своими глазами, – это его гражданские похороны; перекрытые улицы, притихшие толпы. Однако я отчетливо понимал, что все это – просто подходящий повод, чтобы проявить дух национального единства. Толпы рабочих с непокрытыми головами, университетская молодежь, женские лица в окнах, школьники на тротуарах – все эти люди могли ничего не знать о моем отце лично, он был известен им лишь своей приверженностью тому путеводному чувству, которое разделяли все. Я и сам знал не больше других, и это грандиозное безмолвное шествие казалось мне вполне естественной данью, но не человеку – Идее.

Куда более личное впечатление я получил, когда недели за две до смерти отца сжигались его рукописи. Это делалось под его личным присмотром. Так случилось, что тем вечером я зашел в его комнату немного раньше обычного и, никем не замеченный, наблюдал, как сиделка кормила пламя в камине. Мой отец, подпертый подушками, сидел в глубоком кресле. Это был последний раз, когда я видел его не в постели. Он выглядел не столько безнадежно больным, сколько смертельно усталым – побежденным человеком. В этом разрушительном действе меня больше всего поразила атмосфера поражения. Впрочем, капитулировал он не перед смертью. Человеку столь сильной веры она не могла быть врагом.

Много лет я был совершенно уверен в том, что ни одной его записи не уцелело. Однако, когда в июле 1914 года я коротко был в Польше, меня навестил директор библиотеки Краковского университета и рассказал, что в архивах все еще находится несколько отцовских рукописей, а главное – письма к его ближайшему другу. Они были написаны до и во время ссылки, а затем переданы в университет на хранение. Я сразу же отправился в библиотеку, но успев лишь мельком взглянуть на них, собирался вернуться на следующий день и заказать копии всей переписки. Но на следующий день началась война. Скорее всего, я так никогда и не узнаю, чем отец делился в период семейного счастья, когда у него родился сын, когда он был полон больших надежд, и позже – во времена разочарований, лишений и подавленности.

Я представлял, что через сорок пять лет после смерти его уже никто не помнит. Но оказалось, что это не так. Несколько молодых литераторов открыли его как замечательного переводчика Шекспира, Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, чью драму «Чаттертон», им же и переведенную, он сопроводил красноречивым предисловием, в котором отстаивал поэта, его глубокую человечность, его идеал благородного стоицизма.

Вспомнили и о его политической деятельности; некоторые из его современников, соратников в деле сохранения национального духа в надежде на независимое будущее, на склоне лет опубликовали мемуары, где его роль в общем деле была впервые открыта широкому кругу. Тогда я узнал о неизвестных мне прежде подробностях его жизни, о вещах, которые за пределами узкого круга посвященных не могли быть известны ни одной живой душе, кроме моей матери.

Таким образом, из опубликованных после его смерти мемуаров об этих тяжелых годах, я впервые узнал, что Национальный комитет, первичная цель которого была противостоять нарастающему давлению русификации, был основан по инициативе моего отца; и что первые собрания комитета проводились в нашем варшавском доме, из которого я отчетливо помню лишь одну комнату, в белых и алых тонах, скорее всего гостиную. В той комнате была самая большая из известных мне арок. Куда вела эта арка, остается для меня загадкой, но и по сей день я не могу избавиться от ощу-

щения, что все вокруг было гигантских размеров и что люди, которые появлялись и исчезали в этом необъятном пространстве, были много выше обычных представителей рода человеческого, каким я узнал его позднее. Среди них я помню свою мать, знакомую среди других фигуру, одетую во все черное. Это был траур по стране и знак неповиновения свирепому полицейскому режиму. С тех времен осталось во мне и благоговение пред ее загадочной серьезностью, но она все не была не улыбочивой. Потому что я помню, как она улыбалась. Наверное, для меня у нее всегда находилась улыбка. Она была еще совсем молодой, ей не было и тридцати. Через четыре года мама умерла в изгнании.

Ниже я описываю ее визит в дом брата примерно за год до кончины. Я также немного расскажу о своем отце, каким помню его в годы после утраты, ставшей для него смертельным ударом. Отвечая доброжелательному критику, я вновь разбудил их Тени, и теперь им пора вернуться на покой, туда, где все еще хранятся их туманные, но зримые образы, где они ждут момента, когда цепляющаяся за них реальность, их последний след на этой земле, исчезнет вместе со мной.

Дж. К.

1919

Личное дело

I

Книги пишутся в разных местах. Вдохновение может посетить и моряка, когда он сидит в своей каюте на пришвартованном посреди города и скованном замерзшей рекой корабле. И коль скоро святым полагается милостиво взирать на своих смиренных почитателей, я тешу себя приятной иллюзией, что тень старика Флобера – который мнил себя (среди прочего) еще и потомком викингов – могла из любопытства зависнуть и над палубой двухтысячетонного парохода «Адуа», застигнутого суровой зимой у набережных Руана, на борту которого были написаны первые строки десятой главы «Причуды Олмейера». Я говорю «из любопытства» – ведь разве не был этот добрый великан с огромными усами и громоподобным голосом последним романтиком Нормандии? Не был ли он, со своей отрешенной, почти аскетичной преданностью искусству, своего рода отшельником, святым от литературы?

«„Зашло, наконец“, – сказала Нина матери, указывая на холмы, за которые только что закатилось солнце...» Помню, как я выводил эти слова мечтательной дочери Олмейера по серой бумаге тетради, лежавшей на заправленном одеялом

койке. Речь шла о закате на одном из островов Малайского архипелага, и слова эти возникали в моей голове миражами лесов, рек и морей, оставшихся вдали от торгового, но не лишённого романтики города в северном полушарии. Но в этот момент атмосферу видений и слов в один миг развеял третий помощник – веселый и непосредственный юноша, который, войдя и хлопнув дверью, воскликнул: «Эк у вас тут тепло – чудесно!» Было и вправду тепло. Я включил паровой обогреватель, предварительно поставив жестянку под текущий кран – ведь вода, в отличие от пара, течь всегда найдет.

Не знаю, чем мой юный друг занимался на палубе все утро, но лишь от того, как энергично он растирал покрасневшие руки, уже становилось зябко. Это был единственный известный мне игрок на банджо, а тот факт, что он был младшим сыном полковника в отставке, неисповедимыми путями ассоциаций наводил меня на мысль, что в своем стихотворении Киплинг ⁵ описал именно его. Когда он не играл на банджо, он любовался им. Вот и сейчас он приступил к тщательному осмотру и, после продолжительного созерцания струн под моим безмолвным наблюдением, беззаботно спросил: «А что это вы тут все время строчите, если не секрет?»

Вопрос был закономерный, но я не ответил, а просто перевернул блокнот в бессознательном порыве скрытности: я не мог признаться, что он спугнул тонко проработанный пси-

⁵ Имеется в виду стихотворение Р. Киплинга «Песня банджо».

хологический образ Нины Олмейер, прервал ее речь в самом начале десятой главы и ответ ее мудрой матери, который должен был прозвучать в зловещих сумерках надвигающейся тропической ночи. Я не мог сказать ему, что Нина просто сказала: «Зашло, наконец». Он бы очень удивился и, может быть, даже выронил свое драгоценное банджо. Как не мог сказать и о том, что, пока я пишу эти строки, выражающие нетерпение юности, зацикленной на собственных желаниях, солнце моих морских странствий тоже стремится к закату. Я и сам того не знал, а ему, конечно же, было все равно. Впрочем, этот замечательный юноша относился ко мне с куда большим участием, нежели предполагало наше взаимоположение в служебной иерархии.

Он опустил нежный взгляд на банджо, а я стал смотреть в иллюминатор. Круглое оконце обрамляло медной каймой часть пристани, с шеренгой бочонков, выстроенных на мерзлой земле, и задней тягой огромной повозки. Красноносый возчик в сорочке и шерстяном ночном колпаке прислонился к колесу. Таможенный сторож праздно прогуливался в подпоясанной шинели, как будто подавленный вынужденным пребыванием на улице и однообразием служебного существования. Еще на картине, обрамленной моим иллюминатором, поместился ряд закопченных домишек за широкой мощеной пристанью, коричневой от подмерзшей грязи. В этой мрачной цветовой гамме самой примечательной деталью было небольшое кафе с зашторенными окнами и

деревянным фасадом, окрашенным уже облупившейся белой краской, что вполне соответствовало запущенности этих бедных кварталов вдоль реки. Нас отправили сюда с другой стоянки, рядом с Оперой, где такой же иллюминатор открывал мне вид на кафе совсем другого рода – полагаю, лучшее в городе кафе, то самое, где достойный Бовари и его супруга, романтически настроенная дочь старика Рено, подкрепились после памятного оперного представления, трагической истории Лючии ди Ламмермур в сопровождении легкой музыки.

Пейзажи Восточного архипелага выветрились из головы, но я, разумеется, надеялся увидеть их вновь. Итак, на сегодня «Причуда Олмейера» спрятана под подушку. Не уверен, что у меня были другие дела, кроме книги; если честно, созерцание было основным занятием на борту этого судна. Я не стану говорить о своем привилегированном положении, но здесь я служил, что называется, из одолжения – так известный актер может сыграть маленькую роль в бенефисе своего друга. Положа руку на сердце, я вовсе не стремился оказаться на этом пароходе в это время и в этих обстоятельствах. Вероятно, я и сам был не слишком нужен, в том смысле, в каком всякому кораблю «нужен» второй помощник. То был первый и последний случай в моей флотской жизни, когда я служил судовладельцам, чьи намерения и само существование которых оставались для меня загадкой. Я не имею в виду известную Лондонскую фрахтовую фирму, которая сда-

ла это судно не то что недолговечной, а прямо-таки эфемерной «Франко-канадской транспортной компании». Даже после смерти что-нибудь остается, но от ФКТК не осталось ничего осязаемого. Она жила не дольше, чем роза, но в отличие от последней расцвела посреди зимы, испустила легкий аромат приключений и исчезла еще до прихода весны. Но это, без сомнения, была самая настоящая компания, у нее даже был свой флаг – белое полотнище с изящно закрученными в замысловатую монограмму буквами ФКТК. Мы поднимали его на грот-мачту, и только теперь я понимаю, что другого такого флага, вероятно, не было на всем белом свете. И все-таки мы, находясь на борту уже много дней, ощущали себя частью большого флота, каждые две недели осуществляющего рейсы в Монреаль и Квебек, как то было описано в рекламных брошюрах и проспектах, толстая пачка которых появилась на борту, когда судно стояло в лондонских доках Виктория, непосредственно перед отплытием в Руан. В смутном существовании ФКТК – моего последнего работодателя в этой профессии – и кроется секрет, который в некотором смысле прервал плавное развитие истории Нины Олмейер.

Неутомимый секретарь Лондонского капитанского общества, что помещалось в скромных комнатах на Фенчерч-Стрит, был безмерно предан своему делу. Мое последнее пребывание на корабле – как раз его инициатива. Я говорю «пребывание», поскольку морским походом это можно назвать с натяжкой. Дорогой капитан Фруд – по прошествии

стольких лет так хочется отплатить ему теплотой и дружеской симпатией – обладал весьма здравыми представлениями о порядке, в котором офицеры торгового флота должны совершенствовать свои знания и продвигаться по службе. Он организовал для нас курсы лекций по специальности, занятия по первой медицинской помощи, тщательно вел переписку с государственными органами и членами Парламента по вопросам, затрагивающим интересы службы. Когда сверху поступал запрос или создавалась комиссия по делам судоходства и работы моряков, он воспринимал это как подарок небес, поскольку радеть за наши общие интересы было для него необходимостью. Наряду с высоким чувством долга он обладал добрым сердцем и поэтому делал все, что было в его силах, дабы помочь отдельным товарищам по службе, превосходным исполнителем которой он в свое время сам являлся. А что может быть нужнее моряку, чем помощь с трудоустройством? Капитан Фруд не видел ничего дурного, если Капитанское общество, помимо защиты наших интересов, будет негласно функционировать как кадровое агентство высочайшего класса.

Однажды он сказал мне: «Я пытаюсь убедить все наши крупные судовладельческие фирмы, что обращаться за персоналом нужно к нам. В нашем обществе нет ни капли профсоюзного духа, и я совершенно не понимаю, почему они до сих пор не выстроились в очередь. Я и капитанам постоянно говорю, что при прочих равных им следовало бы отдавать

предпочтение членам нашего общества. В моем положении мне не составит никакого труда найти для них подходящего человека среди членов или кандидатов в члены нашего общества».

В моих бесцельных блужданиях по Лондону вдоль и поперек (заняться мне было решительно нечем) две маленькие комнатки на Фенчерч-Стрит стали для меня местом отдохновения, где тоскующая по морю душа, могла ощутить близость к кораблям, к людям, к избранной ею судьбе – здесь это чувствовалось сильнее, чем где-либо на суше. Около пяти часов пополудни это место отдохновения всегда было полно народа и табачного дыма, но у капитана Фруда была своя комнатка, где он проводил частные беседы, основной целью которых было устроить визави на службу. И вот одним мрачным ноябрьским днем он и меня привлек быстрым движением пальца и тем особенным взглядом поверх очков, который, возможно, остался моим самым ярким воспоминанием о нем.

«Утром ко мне заходил один судовладелец, – произнес он, возвращаясь к столу и жестом предлагая мне сесть, – ему срочно нужен помощник капитана. На пароход. Вы знаете, ничто не приносит мне большего удовольствия, чем подобного рода просьбы, но сейчас я, к сожалению, не понимаю, чем ему помочь...» Соседняя комната была полна кандидатов, но, когда я остановил взгляд на закрытой двери, он отрицательно покачал головой. «О да, я бы с радостью отдал

это место одному из них. Но дело в том, что капитану нужен офицер, свободно владеющий французским, – а такого не так-то просто найти. Лично я не знаю никого, кроме вас. Впрочем, место второго помощника вас, разумеется, не заинтересует... ведь так? Я знаю, это не то, что вы ищете».

Он был прав. Я полностью отдался праздности, став человеком, которого преследуют видения и чье основное занятие – поиск слов, чтобы эти видения запечатлеть. Но внешне я все еще походил на человека, который вполне мог занять должность второго помощника на пароходе, зафрахтованном французской компанией. Судьба Нины и шелест тропических лесов преследовали меня днем и ночью, но на моей внешности это никак не отразилось; и даже близкое общение с Олмейером, человеком слабохарактерным, не оставило на мне заметного следа. В течение многих лет он, его история и его мир были моими воображаемыми спутниками, что, хотелось бы верить, не повлияло на мою способность справляться с требованиями флотской жизни. Этот человек и его окружение сопровождали меня с тех пор, как я вернулся из восточных морей – примерно за четыре года до описываемого дня.

В просторной гостиной меблированных комнат одного из кварталов Пимлико они снова ожили, и наши отношения наполнились не присущими им прежде живостью и остротой. Я позволил себе остаться на берегу дольше обычного, и Олмейер – мой старый знакомый – избавил меня от необходи-

мости искать себе занятие по утру.

Очень скоро за моим круглым столом вместе с ним уже сидели его жена и дочь, а после присоединились и прочие колоритные островитяне и наполнили мою гостиную словами и жестами. Без ведома моей почтенной хозяйки, сразу же после завтрака я имел обыкновение принимать у себя оживленных малайцев, арабов и метисов. Они не кричали и не искали моего участия. Они взывали молчаливо, но властно, и обращались они, в этом я уверен, не к моему самолюбию или тщеславию. Теперь мне кажется, что у всего этого была и моральная подоплека; иначе на каких основаниях воспоминания об обитателях той смутной, залитой солнцем реальности требовали бы воплощения на бумаге, если не на почве той удивительной общности, что схожими надеждами и страхами объединяет всех живущих на этой земле?

Своих посетителей я принимал без бурных восторгов, что достаются тем, кто сулит доход или славу. Когда я сидел за письменным столом в одном из обветшавших кварталов Белгрейвии, моему воображению не рисовалась уже напечатанная книга. По прошествии многих лет, каждый из которых оставил после себя медленно заполненные страницы, я честно могу признаться: именно чувство, близкое к сожалению, побудило меня добросовестно запечатлеть в словах воспоминания о самых разных вещах и некогда живших людях.

Но, возвращаясь к капитану Фруду с его непреложным правилом никогда не разочаровывать судовладельцев и ка-

питанов, я просто не мог не поспособствовать в его стремлении буквально в течение нескольких часов удовлетворить необычный запрос на франкоговорящего офицера. Он объяснил мне, что корабль зафрахтован французской компанией, которая планировала ежемесячно доставлять французских эмигрантов из Руана в Канаду. Меня, откровенно говоря, такая служба не слишком интересовала. Я с полной серьезностью произнес, что если от этого предложения действительно зависит репутация Капитанского общества, я его рассмотрю; но это было не более чем формальностью. На следующий день я беседовал с капитаном, он произвел на меня благоприятное впечатление, и я, по всей видимости, тоже. Он растолковал, что его старший помощник во всех отношениях прекрасный малый, что он и думать не станет его увольнять, чтобы отдать мне должность, но если я соглашусь на второго помощника, то получу некоторые преимущества – ну и тому подобное.

Я ответил, что раз уж я пришел, то должность не имеет значения.

«Я уверен, – настаивал он, – вы первоклассно поладите с мистером Парамором».

И я чистосердечно пообещал провести по меньшей мере два рейса. Вот в таких обстоятельствах я и заступил на вахту, которой суждено было стать последней. Однако выйти в море на этом судне мне так и не довелось. Возможно, то была запечатленная на моем челе судьба, и, судя по всему, имен-

но она препятствовала мне во всех моих морских скитаниях хоть раз пересечь Западный океан – если использовать эти слова в том особом смысле, который вкладывают в них моряки, рассуждая о торговых делах Западного океана, почтовых линиях Западного океана, крутом нраве Западного океана. Новая жизнь стремительно приближалась, и девять глав «Причуд Олмейера» направлялись со мной в док Виктория, откуда через пару дней мы отплывали в Руан. Не стану утверждать, что, наняв человека, которому не суждено было пересечь Северную Атлантику, «Франко-канадская транспортная компания» обрекла себя на провал, так и не совершив ни одного успешного перехода. Впрочем, может, и так; но очевидным и главным препятствием стала нехватка средств. Четыреста шестьдесят коек для эмигрантов, трудами умелых плотников втиснутых между палубами за время пребывания в доке Виктория, и ни одного желающего эмигрировать из Руана, чему я, как человек, не лишенный сострадания, был, признаюсь, рад. На судно, правда, явились некие джентльмены из Парижа – кажется, их было трое, и одного из них представили как председателя правления; они обошли весь корабль из конца в конец, то и дело ударяясь шелковыми цилиндрами о палубные балки. Я лично сопровождал комиссию и могу поручиться, что их интерес к делу был достаточно глубок, хотя такое судно им, очевидно, встречалось впервые. Когда они сошли на берег, на их лицах читалась бодрая озадаченность. И хотя корабль должен был отплыть сразу по-

сле инспекции, в тот момент, когда джентльмены спускались по трапу, внутренний голос подсказал мне, что ни одного из упомянутых в контракте рейсов мы не совершим.

Нужно сказать, что не прошло и трех недель, как мы все-таки сдвинулись с места. Когда мы прибыли в Руан, нас с большими почестями встретили почти в самом центре города. На каждом углу красовался плакат цветов французского флага, возвещавший основание нашей компании, а местный буржуа с женой и всем семейством повадился ходить к нам на воскресные экскурсии. Нарядившись в свой лучший китель, я встречал гостей на палубе, готовый к расспросам, как какой-нибудь гид из туристического агентства Кука, а наши старшины собирали урожай мелочи за индивидуальные туры. То было время совершенного, ничем не прерываемого безделья. Все, вплоть до мельчайших деталей, было готово для выхода судна в море, мороз не отступал, и дни были коротки, поэтому мы маялись бездельем. Делать было решительно нечего, и всякий раз вспоминая о жаловании, которое нам начисляли все это время, мы краснели от стыда. Юный Коул был удручен не меньше других: «Если весь день баклуши бить, так и вечером никакого веселья не будет», – говорил он. Даже банджо потеряло свое очарование, так как ничто, кроме завтрака, обеда и ужина, не прерывало его брэнчания. Добряк Парамор – а он действительно оказался превосходным товарищем – пребывал в унынии, насколько позволяла его жизнелюбивая натура, пока в один из безотрад-

ных дней я шутки ради не предложил ему использовать энергию бездействующей команды следующим образом: втащить обе якорные цепи на палубу и поменять концы местами.

«Великолепная идея! – Мистер Парамор на мгновение просиял, но лицо его тотчас омрачилось. – Пожалуй... Но вряд ли мы сможем растянуть эту работу дольше чем на три дня», – пробормотал он с досадой. Не знаю, как долго он рассчитывал проторчать пришвартованным на задворках Руана, но, следуя моему мефистофельскому совету, якоря подняли, цепи поменяли концами, бросили снова и полностью забыли об их существовании до того дня, когда французский лоцман поднялся на борт, чтобы сопровождать наше по-прежнему порожнее судно на рейд у Гавра. Казалось бы, вынужденное безделье должно было помочь мне продвинуться в описании судьбы Олмейера и его дочери, но, увы, этого не произошло. Сосед-банджоист своим вмешательством, о котором я уже рассказывал, словно наложил на героев моего романа злое заклятие, на долгие недели прочно приковав их к тому судьбоносному закату. С этой книгой вечно что-то было так: этот самый короткий из романов, которые мне суждено было написать, я начал в 1889-м и окончил лишь в 1894-м. Между первой фразой, произнесенной резким голосом жены, призывающей Олмейера к обеду, и мысленным обращением его врага Абдуллы к Аллаху – «Всемилоствителю, Всемилосердному», которым книга заканчивается, мне предстояло сделать еще несколько долгих морских переходов, совершить

вояж (говоря высоким стилем, как того требует повод) по (некоторым) местам моего детства и воплотить ту беспечную романтическую фантазию, которой я забавлялся еще мальчишкой.

В 1868 году, когда мне было лет девять, я разглядывал карту Африки того времени и, указав пальцем на белое пятно, которыми в ту пору обозначали неизведанные части континента, сказал себе с абсолютной уверенностью и восхитительным безрассудством, столь не свойственными мне сейчас: «Когда я вырасту, я там обязательно побываю».

Разумеется, больше я об этом не вспоминал, пока примерно через четверть века мне не представилась такая возможность – как будто со зрелостью пришла и расплата за слишком смелые детские мечты. Да. Я и вправду там побывал: а именно в районе водопадов Стэнли. В 1868-м это было самое белое из всех белых пятен на запечатленной поверхности Земли. И рукопись «Причуды Олмейера», которую я всюду возил за собой, будто талисман или сокровище, тоже там побывала.

То, что она оттуда вернулась, представляется мне особой милостью провидения, потому что значительная часть моего багажа, куда более ценная и полезная, так там и осталась из-за досадных происшествий в пути. Так, вспоминается сложный изгиб реки Конго между Киншасой и Леопольдвиллем – тем более опасный, если приходится проходить его ночью, на большом каноэ, где гребцов вдвое меньше, чем положе-

но. Впрочем, стать вторым белым человеком в списке утонувших в этом замечательном месте от того, что каноэ перевернулось, мне так и не довелось. За несколько месяцев до моего прибытия здесь пошел ко дну молодой бельгийский офицер. Насколько мне известно, он тоже добирался домой, и хотя состояние здоровья у нас было разное – направление было одно. Когда опасный поворот остался позади, я был все еще жив, но чувствовал себя до того скверно, что мне было почти все равно, на каком я свете. С неизбывной «Причудой Олмейера» в скудеющем багаже я прибыл в прелестную столицу Бельгийского Конго, Бому. Там мне предстояло дожидаться парохода, который должен был отвезти меня домой. А я пока снова и снова желал себе смерти, причем вполне искренне. К тому времени я закончил лишь семь глав книги, но следующая глава моей собственной истории была посвящена длительной болезни и тягостному выздоровлению. Женева, а точнее водолечебница района Шампель, покрыла себя вечной славой, став местом написания восьмой главы летописи падения и гибели Олмейера. События девятой главы тесно переплелись с подробностями службы: я тогда заведовал складом в порту, принадлежавшим компании, название которой не имеет значения. Я взялся за эту работу, желая вернуться к активной деятельности, свойственной здоровому существованию, но вскоре она исчерпала себя. На суше не было ничего, что могло бы удержать меня надолго. А затем этот приснопамятный роман, как бочка доброй мадеры,

три года болтался со мной по морям. Я не возьмусь утверждать, что подобный режим улучшил его вкус. Что касается наружности – определенно нет: рукопись приобрела бледный вид и желтоватый оттенок ветхости. К тому времени стало очевидным, что причин надеяться на какие-либо изменения в судьбе Олмейера и Нины не осталось. Однако пробудить их от анабиоза суждено было одному случаю, вероятность которого в открытом море ничтожна.

Как там у Новалиса: «Несомненно, в тот миг, когда другая душа поверит в мое убеждение, оно укрепляется многократно». А что есть роман, если не убежденность в существовании ближнего, да такого накала, что некая воображаемая жизнь становится яснее реальности, а совокупная достоверность отдельных эпизодов способна затмить свет академической истории. То же провидение, что спасло мой манускрипт в стремнинах Конго, посреди открытого моря послало мне отзывчивую душу. Было бы величайшей благодарностью с моей стороны позабыть землистого цвета исхудавшее лицо и глубоко посаженные темные глаза молодого человека из Кембриджа (на борту славного судна «Торренс», направлявшегося в Австралию, он оказался, «чтобы поправить здоровье»), который стал первым читателем «Причуды Олмейера» – моим первым читателем.

«Не утомит ли вас чтение моей рукописи?» – спросил я его однажды вечером, повинувшись внезапному порыву в конце продолжительной беседы на тему гиббоновской истории.

Жак (так его звали) сидел в моей каюте накануне ожидавшей меня беспокойной полувахты. Он принес мне книгу из своей дорожной библиотеки.

«Отнюдь», – как всегда любезно ответил он и слегка улыбнулся. Когда я выдвинул ящик стола, в его глазах вспыхнуло любопытство. Интересно, что он ожидал там увидеть. Может быть, стихи. Остается только гадать.

Он не был безучастным; скорее тихий человек, к тому же ослабленный болезнью – немногословный, сдержанный и скромный в общении. Но было в нем нечто незаурядное, что выделяло его из неразличимой массы наших шестидесяти пассажиров. Взгляд его был задумчив и обращен внутрь себя. «Что это?» – дружелюбно спросил он тихим голосом, в своей невозмутимой манере, которая так к нему располагала. «Что-то вроде повести, – с некоторым усилием вымолвил я. – Она еще не закончена. Но я все же хотел узнать ваше мнение». Я отчетливо помню, как он положил рукопись в нагрудный карман пиджака, согнув ее пополам тонкими смуглыми пальцами. «Я прочту ее завтра», – обронил он, ухватившись за дверную ручку; улучил в бортовой качке удобный момент, открыл дверь и вышел. В каюту тут же ворвалось протяжное завывание ветра, шипение воды на палубе «Торренса» и далекий приглушенный рокот разбушевавшегося моря. Все усиливающееся волнение неугомонного океана вернуло меня к действительности, я вспомнил о службе и подумал, что в восемь часов, а самое позднее к половине

девятого, надо будет опустить брамсели.

На следующий день, на этот раз во время первой полувахты, Жак снова зашел ко мне в каюту. В толстом шерстяном шарфе, с рукописью в руках, он не сводил с меня глаз и не говорил ни слова. Он протянул мне рукопись. Не нарушая тишины, я принял ее. Продолжая хранить молчание, он присел на кушетку. Я открыл и закрыл ящик стола. На столе в широкой деревянной раме лежала грифельная доска с вахтенными записями, и я как раз собирался в точности перенести их в книгу, к ведению которой относился с большим усердием, – в судовой журнал. Я выразительно повернулся к столу спиной. И даже тогда Жак не проронил ни слова.

«Что скажете? – наконец спросил я. – Стоит ли это дописывать?»

Этот вопрос в точности отражал все мои сомнения.

«Определенно», – ответил он спокойным приглушенным голосом и слегка откашлялся.

«Вам понравилось?» – допытывался я уже почти шепотом.

«Да, очень!»

Помолчав, я инстинктивно подался навстречу крену, сопротивляясь сильной качке, а Жак уперся ногами в кушетку. Занавески у моей койки взлетали и опускались, как опахало, фонарь на переборке вращался в своих шарнирах, а дверь каюты время от времени дребезжала под порывами ветра. Если я правильно помню, тихое таинство воскрешения Олмей-

ера и Нины вершилось, когда мы находились на сороковом градусе южной широты, недалеко от Гринвичского меридиана. Молчание длилось, и мне пришло на ум, что история моя в большой степени основана на воспоминаниях. Но будет ли она понятна читателю, задумался я, при том, что рассказчик ее как будто уже родился моряком? Тут я услышал свисток вахтенного офицера и насторожился, ожидая команды, которая должна была последовать. С палубы донесся резкий, приглушенный расстоянием окрик: «Обрасопить реи!» «Ага, – подумал я про себя, – надвигается шквальный ветер с запада». Я повернулся к своему наипервейшему читателю, который – увы – не дожил до завершения этой книги и так и не узнал, чем она закончится.

«Позвольте мне задать вам еще один вопрос: история, здесь описанная, – все ли вам в ней было понятно?»

Он с удивлением поднял на меня спокойные темные глаза: «Да! Абсолютно».

И это все, что мне довелось услышать из его уст о достоинствах «Причуды Олмейера». Больше мы о книге не разговаривали. Плохая погода установилась надолго, и я не думал ни о чем, кроме службы, а бедный Жак смертельно простудился и не выходил из каюты. Как только мы прибыли в Аделаиду, мой первый читатель отправился в отдаленное поместье и в итоге довольно неожиданно скончался – то ли в Австралии, то ли возвращаясь домой через Суэцкий канал. Я и сейчас не уверен, точных сведений у меня и не было, хотя на обратном

пути я спрашивал о нем у пассажиров. Пока наш корабль стоял в порту, они сошли на берег и, пустившись «посмотреть страну», встречали его то здесь, то там. Наконец мы отправились в обратный рейс, но ни одной новой строчки не появилось в небрежной рукописи, которую несчастный Жак имел терпение прочесть, когда в глубине его добрых, сосредоточенных глаз уже сгущались тени Вечности.

Намерение, привитое мне его простым и окончательным «определенно», было живо, пусть и дремало в ожидании благоприятной возможности. Смею сказать, я принужден – на подсознательном уровне – писать том за томом, как раньше что-то принуждало меня рейс за рейсом отправляться в море. Страницы должны следовать одна за другой, как прежде лига следовала за лигой – все дальше и дальше к назначенному концу, который, как сама Истина, един для всех людей и всех земных занятий.

Я не знаю, с каким из моих призваний связано больше загадок и чудес. Однако в писательстве, как и мореплавании, мне пришлось ждать своего часа. Позвольте мне признаться, что я никогда не принадлежал к числу тех замечательных ребят, что, забавы ради, готовы пуститься в плаванье хоть в тазу. К литературным авантюрам я склонностей тоже не питаю – уж такой я последовательный человек. Некоторые, я слышал, пишут даже в вагоне поезда, а есть и такие, что работают, сидя нога на ногу на бельевой веревке. Не стану скрывать, что моя сибаритская природа позволяет

мне писать лишь сидя на чем-то хоть отдаленно напоминающем стул. «Причуда Олмейера» прирастала скорее строка за строкой, чем страница за страницей.

Однажды, по дороге из Берлина в Польшу, а если быть точным, на Украину, я едва не потерял рукопись, которая к тому моменту дошла до начала девятой главы. Ранним сонным утром, в спешке пересаживаясь с поезда на поезд, я оставил свой саквояж в буфете. Достойный и сообразительный носильщик спас положение. Впрочем, тревожился я вовсе не о рукописи, но об остальных уложенных в саквояж вещах.

В Варшаве, где я провел два дня, эти неприкаянные страницы так и не увидели дневного света, и лишь однажды на них, в раскрытый на стуле саквояж, упала тень от свечи. Я спешно одевался на ужин в спортивном клубе. Сидя на гостиничной кушетке, меня ждал друг детства, с которым мы не виделись больше двадцати лет, – ранее он состоял на дипломатической службе, а теперь выращивал на фамильных землях пшеницу.

«Может, расскажешь немного о своей жизни, пока одеваешься?» – скромно попросил он. Вряд ли я принялся ему рассказывать историю своей жизни в гостиничном номере. За ужином, на который он меня привел, беседа в избранной компании была очень занимательной и коснулась почти всего на свете: от сафари в Африке до последнего стихотворения, опубликованного в самом новомодном издании, создан-

ном очень молодыми людьми под покровительством самого высшего света. Но разговор этот так и не затронул «Причуду Олмейера», и на следующее утро так и оставшийся безвестным мой неразлучный спутник отбыл со мной в юго-восточном направлении – в город Киев.

В то время дорога от станции до усадьбы, в которую я направлялся, занимала часов восемь, если не больше.

«Dear boy, – эти два слова всегда были написаны по-английски, и с них начиналось полученное мной еще в Лондоне письмо из той усадьбы, – поезжай на единственный в наших краях постоянный двор, поешь как следует, а ближе к вечеру пред твои очи явится мой личный слуга, дворецкий и наперсник мистер В. С. (должен предупредить тебя, он из благородных), и доложит, что сани поданы. На них-то ты и доберешься сюда на следующий день. Вместе с ним я передам самую теплую из своих шуб. Если ты наденешь ее поверх пальто, которые ты, надеюсь, прихватил, она не даст окоченеть тебе в пути».

И в самом деле, как раз когда в огромной, похожей на амбар комнате со свежевыкрашенным полом официант в кипе подавал мне ужин, в дверях появился господин В. С. (благородного происхождения), одетый по-дорожному: в высоких сапогах, папахе и коротком тулупе, подпоясанным кожаным ремнем. Ему было около тридцати пяти, и его открытое усатое лицо имело слегка растерянное выражение. Я поднялся из-за стола и поздоровался с ним по-польски – надеюсь, мне

удалось сделать это с тем почтением, какого требовали его благородная кровь и положение в доме. Он вдруг сразу просветлел. Оказалось, что, несмотря на искренние заверения моего дяди, славный малый сомневался, пойдем ли мы друг друга. Ему думалось, что я стану говорить с ним на каком-то чужеземном языке.

После мне рассказали, что, сядясь в сани, чтобы выехать мне навстречу, он обеспокоенно воскликнул: «Хорошо, хорошо! Еду, но бог его знает, как я пойму племянника нашего хозяина».

Мы с самого начала прекрасно поняли друг друга. Он опекал меня, как ребенка. Наутро он укутал меня в огромную дорожную шубу из медвежьих шкур, уселся рядом, словно на страже, и меня посетило упоительное детское ощущение – будто я еду домой на каникулы. Сани были крошечные и рядом с четырьмя крупными гнедыми, впряженными попарно, выглядели как нечто пустяковое, как детская игрушка. Мы трое, считая кучера, заняли их полностью. За кучера был молодой парень с ясными голубыми глазами; его оживленную физиономию обрамлял высокий воротник извозчичьей шубы, торчавший вровень с макушкой.

«Ну, Юзеф, – обратился к нему мой спутник, – как думаешь, доберемся ли домой к шести?» Тот уверенно ответил, что с божьей помощью непременно поспеем, если на длинных перегонах между деревнями, чьи названия прозвучали для меня очень знакомо, не будет глубоких снежных заносов.

Кучер он оказался превосходный, легко угадывал дорогу посреди покрытых снегом полей и прекрасно понимал возможности своих лошадей.

«Он сын того Юзефа, которого капитан, наверное, помнит; тот, что был кучером покойной бабушки капитана, благословит господь ее душу», – пояснял В. С., стараясь получше укутать мои ноги в меховой полог.

Я прекрасно помнил верного Юзефа, что возил мою бабушку. Еще бы! Именно он впервые доверил мне вожжи и давал поиграть длиннющим хлыстом для четверки, когда я прибежал на каретный двор.

«Что с ним стало? – спросил я. – Уже, наверное, не служит?»

«До последнего был при господине, – последовал ответ, – а десять лет назад умер от холеры – у нас тогда была страшная эпидемия. Жена его тоже умерла, вообще вся семья, только этот мальчик и остался в живых».

Рукопись «Причуды Олмейера» лежала в сумке у наших ног. Я снова видел, как солнце катится за степь, точно как в детстве, когда мы путешествовали по этим краям. Яркое, красное, оно утопало в снегу, как будто в море. Прошло двадцать три года с тех пор, как я в последний раз наблюдал заход солнца над этой землей. Мы продолжали путь в темноте, быстро спускавшейся на сиреневые снега, пока из белой пустыни, смыкающейся с усыпанным звездами небом, не выросли черные фигуры – купы деревьев, отделявших дерев-

ню от украинской степи. Мы проехали пару домов, низкий, нескончаемый плетень, пока, подмигивая через строй елей, не замерцали огни хозяйского дома.

Тем же вечером я достал странствующую рукопись «Причуды Олмейера» из багажа и положил, так чтобы она не особо бросалась в глаза, на письменный стол в гостевой комнате. Эта комната, как сообщили мне с напускной небрежностью, дожидалась меня лет пятнадцать. Рукописи не досталось и капли того внимания, которым был всецело окружен сын любимой сестры.

«Пока ты гостишь у меня, ты редко будешь предоставлен себе, братец», – сказал дядя. Такая форма обращения, позаимствованная у наших крестьян, служила выражением наилучшего настроения в моменты душевного подъема.

«Я частенько буду заходить к тебе поболтать».

Собственно, для разговоров в нашем распоряжении был целый дом, и мы постоянно ходили друг за другом кругами. Я нарушал тишину его кабинета, где главным предметом интерьера был громадный чернильный прибор чистого серебра, подаренный дяде на пятидесятилетие вскладчину всеми его в то время здравствующими подопечными. Дядя опекал многих сирот из дворянских семей трех южных провинций – с приснопамятного 1860 года. Некоторые из них учились со мной в школе или были товарищами по играм, но, насколько мне известно, никто из них не написал романа. Несколько дядиных подопечных были значительно старше меня. Я

помню, как один из них гостил в усадьбе, когда я был еще совсем маленьким. Он впервые посадил меня на лошадь и – с его искусством верховой езды, умением управлять четверкой и мастерством в прочих мужских занятиях – стал одним из первых объектов моего детского восхищения. Я даже, кажется, помню: мама стоит в портике у окон столовой и смотрит, как меня усаживают на пони, которую держит под уздцы, вполне вероятно, тот самый Юзеф, что умер от холеры, – в то время он служил личным кучером бабушки.

Во всяком случае это точно был молодой парень в ливрее кучера – темно-синей куртке и широких казацких шароварах. Дело было году в 1864-м, или, если исчислять время событиями, то был год, когда мать получила разрешение оставить место ссылки, в которую последовала за моим отцом, и отправилась на юг навестить семью. К слову, чтобы уехать в ссылку, ей тоже пришлось испрашивать позволения, и я знаю, что одолжение это было сделано на условии, что с ней самой будут обращаться как со ссыльной. Однако пару лет спустя, в память о ее старшем брате, который служил в Гвардии и рано умер, оставив по себе множество друзей и добрую память в высшем свете Санкт-Петербурга, некоторые влиятельные особы выхлопотали для нее разрешение – официально оно называлось «Высочайшей Милостью» – отлучиться на четыре месяца.

А еще именно в тот год у меня сложился более отчетливый образ матери: она была уже не просто любящее существо,

которое всегда рядом и всегда защитит и в чьих глазах под густыми бровями отражалась какая-то властная нежность. И еще я помню большой съезд родни, близкой и далекой, седые головы друзей семьи – все они собрались, чтоб отдать моей матери дань любви и уважения в доме ее дорогого брата, которому всего несколько лет спустя придется заменить мне обоих родителей.

Я не понимал трагического значения всего, что тогда происходило, хотя среди прочих в доме бывали и доктора, я это отчетливо помню. Внешне болезнь еще не проявила себя, но они, полагаю, уже вынесли ей приговор, – разве что переезд в южный климат мог восстановить покидавшие ее силы. Это время представляется самым счастливым периодом моего существования. Рядом была моя кузина, прелестная, задорная девчушка, всего на пару месяцев младше меня; ее жизнь, которую оберегали, как если бы она была наследной принцессой, оборвалась, когда ей было всего пятнадцать. Были и другие дети, многих уже нет в живых, были и те, чьих имен я уже и не вспомню. Над всем этим нависала гнетущая тень великой Российской империи – тень сгущавшегося национализма и ненависти к полякам, которую разжигали московские журналисты новой школы после злополучного восстания 1863 года.

В своих воспоминаниях об этих сформировавших меня событиях я далеко отступил от рукописи «Причуды Олмейера» вовсе не по прихоти неуместного самолюбования. Их

значение весьма велико для человека, пусть и остались они далеко позади. Очевидно, что романист должен оставить своим детям нечто большее, чем краски и образы, созданные им с таким трудом. Ведь то, что в их взрослые годы будет казаться другим самыми загадочными чертами их личности, то, что им самим не суждено понять до конца, может оказаться подсознательным откликом на тихий голос неумолимого прошлого, в которое уходят глубокие корни его творчества и их судеб.

Только в воображении любая истина обретает осязаемую, неоспоримую полноту. Воображение, а не измышление – вот что правит и в искусстве, и в жизни.

Художественное и точное представление воспоминаний о пережитом достойно служит тому духу сострадания всему человеческому, который освящает и замыслы сочинителя историй, и чувства человека, который пересматривает собственный опыт.

II

Как уже было сказано, я занимался тем, что разбирал свой багаж после прибытия на Украину из Лондона. Рукопись «Причуды Олмейера» – моей спутницы на протяжении трех, а то и более лет, в ту пору уже девяти глав от роду – скромно расположилась на письменном столе меж двумя окнами. Я и не думал убирать ее в один из выдвижных ящиков сто-

ла, но медные ручки этих ящиков привлекли меня красотой формы. Два канделябра, по четыре свечи каждый, празднично освещали комнату, так много лет ждавшую возвращения странствующего племянника. Окна были зашторены.

В пятистах ярдах от кресла, на котором я сидел, стоял первый дом деревни, которая была частью наследства моего деда по материнской линии и всем, что осталось в собственности семьи. А за деревней в безграничной темноте зимней ночи тянулись гигантские неогороженные поля: не плоские и скудные равнины, но урожайная земля – забеленные снегом холмы с черными заплатами угнездившихся в ложбинах пролесков. Дорога, которой я приехал, шла через деревню и поворачивала перед воротами, замыкавшими короткий подъезд к дому. Кто-то ехал по заснеженной дороге, и перезвон колокольчиков прокрался в тишину комнаты, подобно мелодичному шепоту.

Присланный мне на помощь слуга наблюдал, как я распаковывал вещи, бесполезно стоя в дверях в полной готовности. Помощь мне вовсе не требовалась, но и прогонять его тоже не хотелось. Это был молодой человек, по крайней мере лет на десять младше меня. Последний раз я был... не то что в этом доме, а в пределах шестидесяти миль отсюда в 67-м году, однако простодушные и открытые черты его крестьянского лица казались мне на удивление знакомыми. Вполне возможно, он был потомком, сыном или даже внуком тех слуг, чьи приветливые лица окружали меня в раннем

детстве. Позднее я рассудил, что в непосредственном родстве с ними он вряд ли состоял. Он родился в одной из близлежащих деревень и перешел сюда на повышение, обучившись прислуживать в других домах. Об этом мне стало известно на следующий день от достопочтенного V. Впрочем, я мог бы обойтись и без расспросов. Вскоре я выяснил, что все лица в доме, как и в деревне, – суровые лица длинноусых отцов семейств, нежные лица юношей, лица белокурых детей, красивые, загорелые широкобровые лица матерей, стоящих в дверях хат, были знакомы мне, словно я знал их всех с детства, которое закончилось как будто позавчера.

Нараставший было звон колокольчиков вскоре растаял, и лай собак в деревне наконец-то стих. Мой дядя, удобно устроившись в углу кушетки, молча курил турецкую трубку с длинным чубуком.

«Какой прекрасный письменный стол ты поставил в мою комнату», – заметил я.

«Стол на самом деле принадлежит тебе, – сказал он, оставив на мне задумчивый и заинтересованный взгляд; так он смотрел на меня с тех пор, как я переступил порог дома. – Сорок лет назад за этим столом работала твоя мать. В нашем доме в Оратове он стоял в маленькой гостиной, по негласной договоренности отданной девочкам – твоей матери и ее сестре, которая умерла совсем юной. Стол достался им в подарок от твоего дяди Николаса Б., когда твоей матушке было семнадцать, а тете на два года меньше. Мы все любили и

восхищались ею, твоею тетушкой. Верно, ты ничего о ней и не знаешь, кроме имени. В ней не было той женской красоты и утонченного ума, которыми блистала твоя мать. Но все души в ней не чаяли за восхитительную мягкость характера, благоразумие, невероятную легкость в общении.

Ее уход обернулся ужасным горем и огромной душевной потерей для всех нас. Останься она в живых, это стало бы настоящим благословением для всякого дома, куда бы она вошла женой, матерью и полноправной хозяйкой. Вокруг нее все дышало бы миром и гармонией, пробудить которые способны лишь те, кто любит самоотверженно и беззаветно. Твоя матушка превосходила ее красотой, была незаурядной личностью, отличалась прекрасными манерами и острым умом, но с ней не было так легко. Обладая исключительными талантами, она и от жизни ждала большего. В те тяжелые дни все мы особенно беспокоились о ее состоянии. Занедужив после смерти отца (удар для нее был тем сильнее, что его внезапную смерть она встретила в доме одна), она разрывалась от внутренней борьбы между любовью к человеку, за которого она в итоге вышла замуж, и пониманием, что ее покойный отец был против этого брака. Не в состоянии заставить себя пренебречь светлой памятью отца и его мнением, которое она всегда уважала и которому доверяла, и в то же время не в силах противостоять такому глубокому и подлинному чувству, ей было очень сложно сохранить психическое и нравственное равновесие. В разладе с собой

она не могла дать другим ощущение спокойствия, которым сама не обладала. Лишь позднее, когда она, наконец, сочеталась со своим избранником, в ней проявились ее высокий ум и сердечность, благодаря которым она завоевала уважение и восхищение даже наших недоброжелателей. Со спокойствием духа встречая жестокие испытания, в которых отразились все несчастья нашего народа и социальные противоречия общества, она воплощала высшее представление о долге жены, матери и патриотки, разделив с мужем тяготы ссылки и став олицетворением благородного идеала польской женщины.

Наш дядя Николас был не слишком щедр на изъявления чувств. Помимо Наполеона Бонапарта, перед которым он преклонялся, на всем белом свете он по-настоящему любил только трех человек – свою мать, твою прабабку, которую ты видел, но вряд ли помнишь; брата, нашего отца, в чьем доме он прожил много лет; а из всех нас, его племянников и племянниц, выросших подле него, он выделял только твою мать. Скромные и очаровательные достоинства ее младшей сестры он, по всей видимости, был неспособен оценить.

Этот удар, неожиданно обрушившийся на семью, главой которой я стал чуть менее года тому, нанес мне самую глубокую рану. Такого действительно никто не ожидал. Возвращаясь домой по зимней дороге, чтобы скрасить мое одиночество в пустом доме, где для управления поместьем и решения сложных задач требовалось мое неотлучное присутствие (сестры попеременно приезжали ко мне на неделю), –

так вот, возвращаясь из дома графини Феклы Потоцкой, где наша больная мать гостила, чтобы быть поближе к доктору, они сбились с пути и угодили в снежный завал. С ней были только кучер да старый Валерий, камердинер нашего покойного батюшки. Пока они пытались откопать повозку, раздосадованная задержкой, она спрыгнула с саней и отправилась искать дорогу сама. Все это случилось в 1851-м, меньше чем в десяти милях от места, где мы с тобой сидим.

Дорогу вскоре отыскиали, но тут снова повалил снег, да такой густой, что домой они попали только через четыре часа. Валерий впоследствии рассказывал, что, невзирая на ее протесты, прямые приказания и даже попытки их поколотить, они сняли с себя подбитые овчиной тулупы и собрали все меховые полости, чтобы укутать ее и спасти от холода. „Да как же я покажусь своему хозяину, – увещевал он ее, – когда встречусь с его благословенной душой на том свете, если не уберегу вас от опасности, пока во мне теплится хоть единая искра жизни?“ Когда они наконец-то вернулись домой, бедный старик совсем окоченел от холода и не мог вымолвить и слова. Кучер был не в лучшем состоянии, хотя у него и достало сил самому добраться до конюшни. На мои упреки, что в такую погоду не стоило и носа из дома казать, она отвечала, в свойственной ей манере, что ей невыносима была сама мысль оставить меня в безотрадном одиночестве. Непостижимо, как ей это вообще позволили! Но, полагаю, это было предрешено. На следующий день она стала покашливать, но

не придавала этому особого значения. Вскоре она слегла с воспалением легких, и через три недели ее не стало! Из младшего поколения, вверенного моему попечению, она ушла из жизни первой. Помни о тщетности всех надежд и опасений! В младенчестве я был самым хилым из детей. Долгие годы я был настолько слаб, что родители почти оставили надежду увидеть меня возмужавшим. Однако ж я пережил пятерых братьев, обеих сестер, да и многих сверстников. Я похоронил жену и дочь. Из всех, кто хоть что-то помнит о тех давних временах, остался ты один. Такова моя участь – предавать могиле преждевременно угасшие верные сердца, обещания блестящего будущего, полные жизни чаяния».

Он быстро встал, вздохнул и, произнеся: «Обед подадут через полчаса», покинул меня.

Оставаясь неподвижен, я слушал его быстрые шаги по натертому полу соседней комнаты. Он пересек приемную, заставленную книжными полками, где остановился положить чубук на подставку, а затем перешел в гостиную (это была анфилада комнат), где толстый ковер заглушил его шаги. Однако я услышал, как захлопнулась дверь его совмещенной с кабинетом спальни. Ему было шестьдесят два года, и на протяжении четверти века он был самым мудрым, самым надежным, самым снисходительным опекуном; он дал мне отеческую заботу, любовь и моральную поддержку, которые я всегда ощущал где-то рядом, в каких бы удаленных частях света ни находился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.